Константин Погудин



Тринадцатая страница

Константин Погудин
Тринадцатая страница

https://litres.ru/74815398
SelfPub; 2026

Аннотация

Лондон, 1945 год. Бывший актуарий Эдмунд Рейн, потерявший жену во время бомбардировки, служит в МИ-5 и составляет таблицы: кто, где и с кем мог быть. Когда в руки службы попадают обрывки перехваченных советских шифровок, его таблицы становятся единственным инструментом поиска предателя. Чем ближе искомое имя, тем меньше уверенности, что он хочет его найти.

Сдержанный, документальный по духу роман о том, как работает контрразведка: протоколы, допросы, комиссии, архивные карточки, бессонные вечера над тетрадью. Роман опирается на реальные события 1945–1953 годов: дело Гузенко, расшифровки проекта «Венона», признание Клауса Фукса, бегство Маклина и Бёрджеса, смерть Сталина. Здесь нет правых и виноватых. Есть люди, которые делают свою работу и платят за неё. А последняя страница, которой не хватает в деле, остаётся главным вопросом книги.

Содержание

ГЛАВА 1. Шесть страниц 5
ГЛАВА 2. Двенадцать секунд 22
ГЛАВА 3. Единственная страница 31
ГЛАВА 4. Парные страницы 48
Конец ознакомительного фрагмента. 67

Константин Погудин
Тринадцатая страница

Лондон – Челтнем – Вашингтон

1945–1953

ГЛАВА 1. Шесть страниц

Лондон, сентябрь – ноябрь 1945

Утро началось, как все утра в последние год и два месяца: с золы.

Эдмунд Рейн вычистил решётку камина, насыпал угля ровно столько, сколько позволяла декадная норма, и пока огонь решал, стоит ли ему разгораться, стоял у окна с чашкой чая. Чай был третьей заварки. Он знал это не потому, что считал, а потому, что вкус был цвета оконного стекла. За стеклом, в шести этажах ниже, лежал Пимлико, обёрнутый осенним туманом, как посылка бумагой: аккуратно и без объяснений. Радио в соседней квартире передавало сводку: рабочие доков, уголь, бесконечное «сохраняйте терпение». Война закончилась два месяца назад. Терпения требовали по-прежнему.

Ему было сорок один. Он был худым, чуть сутулым, с лицом человека, который долго читал мелкий шрифт и не жалуется. До войны он служил актуарием в страховой компании на Грешем-стрит: считал, сколько людей умрёт в следующем году и от чего, и составлял на основании этого таблицы, по которым другие люди решали, сколько брать за страх. Работа была чистой. В ней не было ничего, кроме закономерностей. Он любил её так, как любят то, что не отвечает.

Маргарет умерла в июле сорок четвёртого. Не в его таб-

лицах: таблицы такой строки не предусматривали. Она вышла за хлебом на Бэйсуотер-роуд, а в четверть одиннадцатого над крышами зажужжала одна из тех штук, которые потом назвали «жужжащими бомбами», и жужжание оборвалось. Это важная деталь, говорили ему потом соседи. Пока жужжит, значит, пролетит дальше. Когда замолкает, значит, твоя очередь. Она, должно быть, услышала, что оно замолчало. Он не знал, что делала в эту минуту: остановилась или побежала. Он не позволял себе это знать.

Теперь он жил в её отсутствии, как живут в доме, где перестановка мебели совершена в чужое отсутствие: все вещи на месте, но ни одной нельзя найти.

Он допил чай, надел плащ, проверил, что ключ от сейфа и пропуск лежат в разных карманах, и вышел.

Служба возвращалась в Лондон.

Это было видно по всему. Военные адреса, на которых она пряталась пять лет, один за другим пустели: Бленхеймский дворец с его позолотой и сквозняками, тюрьма на Уормвуд-Скрабс, переоборудованная под канцелярию, дома в Сент-Джеймсе, где под ногами хрустела штукатурка. На Керзон-стрит, в сером доме с широкой лестницей и швейцаром в потёртом пальто, ещё пахло краской и мокрой бумагой. Коридоры были заставлены ящиками. На ящиках мелом стояли номера отделов. Люди ходили, обнимая картонные папки, как обнимают детей на вокзале.

Рейн работал в отделе «В», то есть в контрразведке. Объ-

яснять это на вечеринках не имело смысла: на вечеринках он говорил, что служит «в министерстве». Это не было ложью, скорее той разновидностью правды, которая никому не нужна.

Его кабинет на третьем этаже был рассчитан на одного человека и занят двумя. Второй стол принадлежал человеку по фамилии Пейтон, который утром всегда опаздывал, а вечером всегда уходил первым, и в промежутке производил впечатление большой занятости. Рейна это не раздражало. Чужая лень была для него такой же частью пейзажа, как лондонский туман: её нужно было просто учитывать.

— Мистер Прайор просил вас зайти, — сказала секретарша, не поднимая глаз от машинки.

Джеральд Прайор, заместитель начальника отдела, сидел за столом, на котором не было ничего, кроме одной папки и пепельницы. Это был человек лет пятидесяти, с сухим лицом и неподвижными руками. Он носил жилеты. Он не повышал голос ни разу за пять лет, что Рейн знал его, и от этого к нему прислушивались внимательнее, чем к тем, кто кричал.

— Закройте дверь, Эдмунд.

Рейн закрыл.

— Садитесь. Вы читали телеграмму из Оттавы?

— Только ту, что ходила по этажу. Про бумаги.

— Тогда читайте. — Прайор подвинул папку. — Здесь не всё. Остальное идёт морем и самолётом, но ждать мы не можем. Канадцы прислали выжимку и несколько копий. Я хо-

чу, чтобы вы посмотрели на английскую часть.

Рейн открыл папку.

Он уже знал главное. На прошлой неделе по этажам прошёл шёпот, сначала невнятный, как радиоприёмник между станциями, потом всё яснее: в Оттаве, в канадской столице, где у Службы был один-единственный связной, перебежал шифровальщик из советского посольства. Не дипломат, не разведчик. Клерк. Лейтенант военной разведки, ГРУ, двадцать шесть лет, по фамилии Гузенко. Он вынес из здания посольства за пазухой, как выносят украденный хлеб, сто девять документов. Сто девять. Рейн несколько раз проговорил про себя это число, оно звучало как опечатка.

Выжимка занимала шесть машинописных страниц. Он читал медленно, водя карандашом под строчками, но не отмечая ничего. Так он читал всегда: сначала впустить текст целиком, потом разбирать.

Там была история. Человека, который вечером пятого сентября вышел из посольства на Шарлотт-стрит с бумагами под рубашкой и пошёл по Оттаве искать, кому их отдать. Он пошёл в редакцию газеты, и дежурный редактор не решился взять на себя ответственность. Он пошёл в министерство юстиции и не застал там никого: был вечер. На следующий день он ждал приёма у министра несколько часов, и его не приняли. Он с женой и ребёнком сидел в соседской квартире, а в ночь на седьмое в его собственную квартиру на Сомерсет-стрит вломились четверо сотрудников посольства.

Их застала городская полиция. Это было смешно и страшно одновременно, как все по-настоящему важные события: четверо мужчин в штатском, пойманных с поличным в чужой квартире, объясняющих полицейским, что они «ищут друга».

Только потом его взяла канадская конная полиция. Только потом документы были прочитаны. И тогда оказалось, что в них было всё.

В них были имена. Не имена, поправил себя Рейн, кого-то он знал по другим бумагам и мог назвать: клички. Псевдонимы, которыми Москва называла людей, чтобы не называть их самих. «Алек». «Бэкон». «Фред». «Бадо». «Грант». Каждая была аккуратно, как этикетка на банке с вареньем, приклеена к человеку: физик, чиновник, парламентарий, инженер, клерк шифровальной службы. Люди, которые работали в Канаде, в Англии, в Соединённых Штатах. Люди, которые были внутри.

— Страница четыре, — сказал Прайор. — Нижний абзац.

Рейн перевернул.

«…„Алек", по сведениям Гузенко, британский учёный, участвовавший в работе по атомной проблеме (Монреальская лаборатория). В ближайшее время возвращается в Англию. Предусмотрена связь в Лондоне…»

Он прочёл абзац ещё раз. Потом ещё. Потом положил карандаш.

— Он назвал имя?

— Нет. Кличку. И то, что тот возвращается в Англию.

— В Англию вернулось довольно много людей, — сказал Рейн.

— Не так много, как вы думаете. Мы разослали запросы. В Канаде в Монреальской лаборатории работало несколько британцев. — Прайор достал из жилета часы, посмотрел на них, убрал обратно. Этот жест был у него вместо вздоха. — Мы думаем, что знаем, кто. Но «думаем» не годится. Я хочу, чтобы вы прошли по всем англичанам, упомянутым в бумагах. По всем. Не только по Алеку. Каждое имя, каждое упоминание должно быть проверено по картотеке. Есть ли личное дело, что в нём, с кем контактировал, кого знал.

— Сколько у меня времени?

— Столько, сколько нужно. — Прайор помолчал. — И столько, сколько нет.

Рейн кивнул. Он уже знал, что хочет сделать с этими шестью страницами. Это было не то, что просил Прайор. Это было что-то другое. Он ещё не знал, как это назвать.

Пейтон вернулся в кабинет к одиннадцати, с двумя бутербродами в бумаге и видом человека, который прошёл полгорода ради того, чтобы выяснить, что столовая открыта.

— Ну? — спросил он, не снимая шляпы. — Вас вызывали.

— Да.

— И?

— Мне нельзя рассказывать.

— Разумеется, нельзя. Поэтому я и спрашиваю. Если бы

можно было, спрашивать было бы скучно. — Пейтон положил бутерброд на блюдце, служившее ему тарелкой, и сел. Ему было лет тридцать пять; он носил усики, которые давно вышли из моды, и считал, что это придаёт ему сходство с актёром довоенного кино. На самом деле они придавали ему сходство с человеком, который долго не решался их сбрить.

— Знаете, что у нас говорят? Что в Оттаве у русского шифровальщика украли жену.

— Это неправда.

— Знаю, что неправда. Но красиво. Сначала жена, потом ребёнок, потом бумаги. Каждый добавляет своё. К вечеру он окажется похитителем королевских драгоценностей.

— Пейтон.

— Да?

— Если вы будете говорить это в коридоре, вас услышат.

— Я не говорю в коридоре. Я говорю вам. — Он откусил бутерброд. — Вы заметили, что в службе есть два сорта людей? Те, кто знает и молчит, и те, кто не знает и говорит. Я принадлежу ко второму сорту. Это очень удобно: я всегда в курсе, чего не знаю.

Рейн улыбнулся, хотя собирался не улыбаться. С Пейтоном всегда так получалось. Тот был ленив, неряшлив, опаздывал на службу и читал за столом детективные романы, спрятав их в папку с входящими. И при этом в его лени была какая-то странная честность: он не изображал занятости и не изображал осведомлённости. В здании, где половина лю-

дей делала вид, что знает больше, чем знает, это было почти подвигом.

— А вы чем заняты? — спросил Рейн.

— Я? Я составляю справку о деятельности Коммунистической партии в Бирмингеме. Бирмингем, Рейн, это город, в котором коммунисты так хорошо спрятались, что мы не можем найти ни одного. — Пейтон вздохнул. — Если бы мне дали сто фунтов и неделю, я бы нашёл дюжину. Только это были бы не коммунисты. Это были бы люди, которые ходят на собрания, потому что там дают чай.

— Чай — тоже довод.

— Для меня — главный.

Он взял второй бутерброд и протянул половину Рейну. Тот помедлил и взял. Бутерброд оказался с селёдкой и был ужасен. Рейн съел его весь.

Регистратура помещалась в подвале.

Это была та часть Службы, которую нельзя было увидеть снаружи и без которой Служба не существовала: огромная, бесшумная, пахнущая картоном и чернилами. Два миллиона личных дел, по слухам. Карточки, листки, папки в серых, синих и красных обложках. Тысячи ящиков с ярлыками на медных держателях. В нём работали женщины, всегда женщины, потому что война выкачала мужчин, а женщины оказались лучше: точнее, терпеливее и безразличнее к тому, что читают.

Старшей была мисс Далримпл. Хэтти Далримпл, пятиде-

сяти трёх лет, в очках, тяжёлых, как два иллюминатора. Она помнила в лицо и по фамилии три четверти людей, о которых в этом зале существовали сведения. Она никому не говорила, что помнит.

— Мистер Рейн.

— Мисс Далримпл. У меня к вам длинный список.

— У вас всегда длинный список. — Она взяла у него листок, пробежала глазами, чуть приподняла брови. — Тут восемнадцать фамилий.

— Девятнадцать. Одна написана плохо.

— Я её разберу. — Она записала на бланке номер заявки, поставила печать. — Будет к вечеру. К обеду, если мальчики из отдела «А» не заберут у меня тележки.

«Справкой по картотеке» это называлось официально. Между собой говорили: «трейс». Если трейс положительный, на человека есть дело: он в чём-то замечен, с кем-то связан, где-то упомянут. Если отрицательный, значит, человек чист или просто никому не интересен. Рейн давно заметил, что отрицательный трейс в этой работе значит меньше, чем кажется. Отсутствие сведений не есть сведения об отсутствии. Это он знал ещё по страховому делу. Все умершие от рака когда-то значились в таблицах как «здоровые».

Он вернулся к вечеру. Тележка с папками уже стояла у его стола, и на каждой папке лежал листок с маленькой красной звёздочкой, поставленной рукой мисс Далримпл. Он не просил её об этом. Звёздочка означала: «это стоит прочесть

сначала».

Из девятнадцати фамилий восемь были пустыми. Шесть принадлежали людям, которые числились, как водится, «связанными с левыми кругами» по причинам, какие в тридцатые годы были у половины Кембриджа: митинг в защиту Испании, подписанное письмо, членство в Обществе дружбы с СССР. Три дела были толстыми.

Дело «Нанн Мэй, Алан» было одним из толстых.

Он читал его, как всегда, с последней страницы, потому что последняя страница говорила, чем всё кончилось, а предыдущие объясняли, почему это не удивило. Физик. Кембридж. Тридцать четыре года. Ядерная физика. С сорок третьего года в составе британской группы в Канаде, в лаборатории под Монреалем, в закрытой работе, о которой Рейн знал только слово «трубные сплавы» и то, что слово было шифром. Коммунистические симпатии тридцатых годов, не скрываемые. Кембриджская «партийная» ячейка. В последнем абзаце значилось: *«Вернулся в Англию в сентябре 1945 года. Возобновил работу в Королевском колледже, Лондон».*

Вернулся. Не «бежал», не «исчез». Преподаватель, физик, человек, снявший квартиру в Бермондси и ходящий в колледж пешком. По приказу Москвы, которую он, судя по бумагам Гузенко, считал союзником, а не врагом.

Рейн закрыл дело. Положил ладонь на обложку. Обложка была холодной.

Он не питал ненависти к этому человеку. Это удивляло

его самого. Он питал что-то другое, сложное, без названия: как к книге, которую уже нельзя не дочитать.

В половине восьмого вечера он вышел на Керзон-стрит. Туман стал гуще; фонари стояли в нём, как свечи в молоке. Он дошёл пешком до Пэлл-Мэлл и свернул к клубу, где у него был назначен ужин.

Алек Харроу ждал его в курительной. Он сидел, развалясь, в кожаном кресле с таким видом, словно кресло было куплено им лично и платить за него не придётся. Алек, как всегда, выглядел так, как будто его только что отгладили: сорок один год, тёмные волосы, зачёсанные назад, лёгкая седина на висках, добротный серый костюм довоенного покроя, который он умудрился сохранить в приличном виде. Они учились на одном курсе в Кембридже: Рейн на математике, Алек на истории. Они сошлись в первую же неделю, потому что оба терпеть не могли хоровое пение и оба сбежали с одного и того же вечера в колледже. С тех пор прошло двадцать три года.

Алек служил в Форин-офисе. В каком отделе и чем занимался, Рейн не спрашивал: не из деликатности, а потому, что знал, что ответ был бы «в министерстве». Они оба смеялись над этим когда-то.

— Эдмунд! — Алек поднялся, пожал руку обеими. — Ты похудел.

— Это по карточкам.

— Это по тебе. Садись. Я заказал нам нечто, что здесь

называют говядиной. Говорят, это было когда-то в родстве с коровой.

Ужин оказался пересушенной тушёной говядиной, картофелем и капустой. Они ели молча, с удовольствием, как едят старые знакомые, которым не нужно доказывать друг другу интереса. Потом Алек заказал бутылку бордо, довоенную, из погреба клуба, спрятанную от налётов и от революций, и они пили её понемногу, как лекарство.

— Как ты? — спросил Алек наконец.

— Хожу на работу.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который у меня есть.

Алек кивнул. Он не настаивал. Это он умел лучше, чем кто-либо: не настаивать. Он единственный из знакомых Рейна ни разу не сказал после смерти Маргарет «она бы не хотела, чтобы ты». Он написал из Вашингтона письмо, в котором не было ни слова утешения, а потом, вернувшись в Лондон, пришёл с бутылкой и сидел до утра, и не говорил почти ничего, и это оказалось нужнее всех слов.

— Мне бы тебя куда-нибудь вытащить, — сказал Алек. — В Шотландию. Или в Корнуолл. Куда-нибудь, где нет людей и газет.

— Сейчас нельзя.

— Всегда «нельзя». — Он повертел бокал. — Это правда, что у вас там что-то случилось? В Канаде?

Рейн поднял глаза.

Он не изменился в лице. Двадцать лет приучили его не изменяться. Но что-то внутри, как стрелка, сдвинулось на одно деление.

— Что ты слышал?

— Ничего. — Алек засмеялся. — Бог мой, Эдмунд, у тебя вид, будто я попросил ключ от сейфа. В министерстве ходит слух. Что кто-то там, в Оттаве, пришёл с бумагами. Что Москва, мол, как мы все подозревали, не вполне союзница. Никто ничего толком не знает. Говорят, правительство в панике: Мэкензи Кинг в особенности. Я думал, ты что-нибудь слышал.

— Я ничего не слышал.

— Разумеется. — Алек поднял бокал. — За тех, кто ничего не слышал. Таких в Лондоне большинство, и они самые счастливые.

Они выпили.

Позже, когда он шёл домой по мокрой Пикадилли, Рейн несколько раз прокручивал в голове этот разговор, и не мог понять, что именно в нём зацепилось. Алек не сказал ничего необычного. Слух, о котором он упомянул, действительно ходил: Рейн слышал его сам. В министерстве иностранных дел, где через руки проходят канадские и американские шифровки, не знать о таком было бы странно.

Дело было не в этом.

Дело было в том, что на мгновение, когда он спросил «что ты слышал?», в лице Алека что-то мелькнуло. Не страх. Не

вина. Не интерес. Слишком быстро, слишком мало. Что-то вроде того, как мелькает в окне уходящего поезда лицо, которое тебе показалось знакомым, и ты не успеваешь решить, чьё оно.

Он остановился на углу, посмотрел на мокрые крыши.

Не будь дураком, Эдмунд.

Это был его друг. Человек, который сидел с ним ту ночь. Он не имел права.

Он пошёл дальше.

По дороге домой он сошёл с автобуса за две остановки до своей и пошёл пешком. Не потому, что хотел воздуха: воздуха не было, был туман, густой и сладковатый, пахнущий углём и дымом чужих печей. Просто сидеть в тесном автобусе, среди чужих локтей, с папкой на коленях, стало невозможно.

Возле лавки на углу стояла очередь.

Он остановился на другой стороне улицы. Очередь была обычной: десятка полтора женщин, несколько стариков, одна девочка лет двенадцати, державшая в руках пустую сетку. Лавка давно закрылась, но они всё стояли, потому что завтра утром, говорили, привезут сыр, и надо было занять место. Они были укутаны, как в сорок первом: тот же серый платок, тот же шерстяной шарф, та же манера переступать с ноги на ногу, согревая замёрзшие стопы. Война кончилась, а очередь осталась.

Он смотрел на них долго. Женщина в тёмном пальто повернулась, поймала его взгляд, нахмурилась и отвернулась.

Он понял, что на него смотрят как на человека, который стоит и глазеет, и пошёл дальше.

Два года назад он бы не заметил этой очереди. Он бы шёл мимо, думая о таблице. Теперь он видел каждую очередь, как видят зубную боль: не потому, что хочется, а потому, что тело сообщает о месте.

Маргарет умерла в такой очереди. Он знал, что не должен об этом думать. Но мысль, как вода, уходила туда, где ниже. Он думал о том, что в одной из таких очередей, в том же сером платке, в той же позе, стояла она. Стояла, ничего не зная о том, что ждёт её через двенадцать секунд. И что вся его профессия, вся его любовь к вероятностям, не могла бы ничего изменить. Вероятность не человек. Она не может прийти в очередь и встать вместо.

Он дошёл до дома и, прежде чем войти, постоял у подъезда. Потом толкнул тяжёлую дверь и стал подниматься по лестнице, считая ступени. Их было шестьдесят восемь. Он давно знал это число. Другого такого числа в его жизни не было.

Дома было тихо.

Огонь погас. Он не стал разжигать его заново: до утра оставалось недалеко, а уголь был на счету. Он повесил плащ, поставил на плиту чайник, из чувства долга, не из желания. Достал из портфеля шесть страниц выжимки и положил на кухонный стол.

Потом вспомнил, что утром обещал себе что-то сделать с

этой бумагой, и не сразу понял, что.

Он сел. Достал из ящика стола чистую тетрадь, школьную, в линейку, купленную ещё до войны для расчётов. Открыл. Первая страница была чистой.

Потом он достал листок из папки и стал выписывать.

Он выписывал не имена. Имён у него не было. Он выписывал клички, одну под другой, и рядом всё, что о каждой было известно из шести страниц: где работает, куда едет, что передаёт, как зовут руководителя. «Алек» — физик, Монреаль. «Бэкон» — Оттава, чиновник. «Грант» — Канада, инженер. «Фред» — парламент. «Бадо» — шифровальный клерк. Строчка за строчкой.

Потом он остановился и посмотрел на то, что получилось.

Это была таблица. Не страховая, совсем другая, но он увидел её как таблицу, потому что иначе не умел видеть. Клички шли в одну колонку. Рядом должны были идти настоящие имена, но их пока не было. Они были как белые клетки. Он мог заполнить две-три. Остальные оставались чистыми.

И тогда он понял то, что пытался понять с утра.

Прайор просил его проверить имена. Но имена были не главным. Имён у них почти не было. Были клички, которые Москва раздавала людям, как номера в очереди. Кличка говорила, что человек существует; она не говорила, кто он. Но Москва должна была как-то отличать одного человека от другого в своих же телеграммах. Значит, клички повторялись. Значит, где-то там, в других телеграммах, которых

у них не было, те же клички повторялись снова и снова, и люди за ними жили, и носили шляпы, и ходили на работу.

Один из сотни документов, лежащих сейчас в Оттаве, был лишь верхним слоем.

Он взял карандаш и вверху страницы, над первой строчкой, написал слово: «Реестр».

Потом зачеркнул. Подумал. Написал: «Клички».

И подчеркнул дважды.

Чайник давно вскипел. Он не слышал. Он сидел над тетрадью. Ему вручили начало нитки: конца не видно, привязана неизвестно к чему, а дёрнуть придётся.

Радио за стеной давно замолчало. Туман за окном почти не двигался.

Он написал последнюю строчку на странице: «Сколько их?»

ГЛАВА 2. Двенадцать секунд

Лондон, июнь – июль 1944

Он помнил, что в тот день пили чай.

Это была единственная деталь, в которой он был уверен. Всё остальное, что случилось в июле сорок четвёртого, он потом перебирал годами, как перебирают чужие вещи в чемодане: вот это было, вот этого, кажется, не было, вот здесь я что-то додумал. Но чай был. Утром Маргарет, как всегда, поставила чайник, налила ему в синюю чашку со сколотым краем, а себе в белую и сказала, глядя в окно:

— Опять жужжит.

— Где?

— Далеко. На юге. Слушай.

Он прислушался. В июльском воздухе, над крышами, стоял тонкий, ровный, почти ласковый звук, похожий на гул далёкого мотоцикла. Они научились слышать его за месяц. Сначала думали, что это самолёты, потом поняли, что нет.

— Я слышу, — сказал он.

— Не слушай. — Она улыбнулась. — Пей чай.

Он пил чай. В то утро он ещё не знал, что запомнит эту фразу как последнюю.

К лету сорок четвёртого его работа превратилась в привычку.

Он давно служил не в страховой компании: с сороково-

го года его трудом была бумага особого рода. Он сводил в таблицы сообщения, которые приходили в отдел из разных источников, и искал в них то, чего не замечали те, кто писал: повторения, совпадения, странности. Это было похоже на прежнюю работу. Раньше он считал, сколько людей умрёт и от чего. Теперь считал, сколько людей лжёт и о чём. Подход был одинаковый: вероятность, выборка, отклонение.

Тринадцатого июня началось новое.

Первую «летающую бомбу» он не услышал: спал. Утром в метро кто-то говорил о ней шёпотом, с тем же выражением лица, с каким в детстве говорят о привидениях. К полудню слух стал сообщением. К вечеру в газетах появились осторожные слова: «беспилотные самолёты», «новое оружие противника». Рейн сидел над таблицей и не мог заставить себя продолжить, потому что понимал: все его модели рассчитаны на человека, который прячется в убежище. Новое оружие не спрашивало, прячется ли ты.

Он высчитал это за неделю. Сделал грубую оценку: если пуски продолжатся с прежней интенсивностью, число погибших к осени достигнет нескольких тысяч. Он написал цифру на листке, сложил пополам и спрятал в стол. Через месяц цифра оказалась недалека от правды. Это его не обрадовало.

Маргарет преподавала в школе в Паддингтоне.

Она была учительницей литературы и истории в девчачьей школе: низкое кирпичное здание с чёрной лестницей и запахом мела, воска и мокрых пальто. Пришла туда в трид-

цать восьмом, за год до войны. Вечерами проверяла тетради на кухонном столе, при настольной лампе, и ставила красным карандашом короткие пометки на полях: «Подумай», «А почему?», «Источник?». Рейн любил читать эти пометки. Они были для него чем-то вроде почерка самой жизни, строгой, но не злой.

В июне, когда снаряды пошли один за другим, школу закрыли: половину учениц вывезли из города, а остальные ходили на занятия без прежней охоты. Маргарет осталась дома. Она ставила крестики в оставшихся тетрадях, помогала соседке с малышами, стояла в очередях. Она не уехала.

— Это неразумно, — сказал он однажды вечером.

— Знаю.

— Я не прошу тебя бросить всё. Но, может быть, на время, к сестре, в Бат…

— Эдмунд. — Она подняла на него глаза. — Посчитай.

— Что?

— Сколько их падает. Какова вероятность, что одна из них упадёт именно здесь. Именно на нас.

Он замолчал.

— Видишь, — сказала она мягко. — Ты не хочешь считать.

— Потому что цифра не имеет значения.

— Вот. Так я и думала.

Это был их последний серьёзный разговор. Он вспоминал его потом так часто, что слова стёрлись.

В тот день всё шло по обычному порядку.

Он поцеловал её в щёку, торопливо, как всегда. Она сказала, что зайдёт за хлебом, пока не закрылась лавка на Бэйсуотер-роуд. Он вышел, дошёл до остановки, сел в автобус. Утро. Таблицы. Кофе, который не был кофе. В одиннадцатом часу кто-то в коридоре сказал: «Опять».

Все знали, что это значит. Сирены не было. Снаряд шёл низко, и тревогу объявили слишком поздно, или не объявили вообще. Люди встали из-за столов, спустились в подвал, сели на скамьи вдоль стены. Кто-то курил, кто-то молчал. Кто-то начал считать вслух: раз, два, три. Старый рефлекс: между звуком и ударом проходит время, и его можно измерить.

В полдень дали отбой.

Он вернулся к столу, придвинул лист. Но писать не мог. Что-то в нём сжалось, как сжимается мышца, когда её слишком долго держат в напряжении. Он положил карандаш.

В час дня зазвонил телефон. Не его: на соседнем столе. Но трубку протянули ему.

— Рейн.

Голос был чужой, ровный, осторожный. Человек назвал себя, назвал учреждение, назвал адрес. Потом сказал, что есть сообщение, которое он обязан передать лично, но предпочёл бы не по телефону. Что произошёл несчастный случай. Что пострадавшая находится в больнице. Что нужно приехать.

— Какая больница?

Человек назвал.

— Она жива?

Пауза. Тот самый вдох, который делают, когда хотят сказать правду и боятся.

— Приезжайте, мистер Рейн.

Он положил трубку. Постоял. Сослуживец у соседнего стола смотрел на него с выражением, которого он потом не мог забыть: не жалость и не ужас, а какое-то усталое знание.

— Идите, — сказал сослуживец. — Я скажу, что вы ушли по семейным обстоятельствам.

Он шёл по улице и считал шаги.

Больница стояла в двадцати минутах пешком, на углу узкой улицы, где уже были заметны следы утреннего взрыва: выбитые окна, куча щебня, пыль, висевшая в воздухе, как дым. Он прошёл мимо людей с носилками, мимо женщины, которая сидела на бордюре с младенцем на руках и смотрела прямо перед собой, мимо мужчины в каске, который что-то быстро записывал в блокнот. Он подумал: *это уже не цифры. Это улица*.

Его встретила медсестра. Лет сорока, с усталым, серым лицом, в халате, на котором темнели пятна. Она провела его по коридору, открыла дверь, пропустила вперёд.

В комнате стоял стол, накрытый простынёй.

Он знал, что должен что-то сказать. Что-то, чего требовал ритуал. Но слова не приходили. Он смотрел на простыню,

под которой угадывались контуры чего-то небольшого, и понимал, что сейчас придётся её приподнять. Что он должен будет посмотреть. Что это нельзя поручить никому другому.

Он приподнял.

Не нужно описывать то, что он увидел. В её лице не было ничего, чего он боялся: ни следов, ни искажения. Она выглядела так, как выглядела по утрам, когда ещё спала: спокойно, с чуть сдвинутыми бровями, будто решала трудную задачу. Только волосы были в пыли и на виске темнело небольшое пятно. И на шее, под воротничком, висела тонкая цепочка, которую он подарил ей на свадьбу и которую она никогда не снимала.

— Это ваша жена? — спросила медсестра тихо.

— Да.

— Она не мучилась. Об этом можно сказать точно.

— Спасибо.

Это было единственное, что он смог сказать.

Потом были бумаги. Их оказалось много: свидетельство, опись вещей, заявление в районное управление, расписка. Он подписывал, не читая. Ему отдали маленький бумажный пакет: в нём лежали сумка, очки, незаконченное письмо сестре в Бат и пара серебряных запонок. Он подарил их ей на тридцатилетие, чтобы она носила их на блузке, потому что она любила мужские манжеты. Она, видимо, зашла по дороге в мастерскую, где их полировали. Запонки были завёрнуты в бумагу, на которой карандашом было написано:

«Эдмунду, на день рождения».

Он держал бумажку в руках и не мог понять, почему она кажется ему вопросом, обращённым к нему.

Позже он выяснил подробности.

Снаряд упал около десяти пятнадцати, за один квартал от лавки, на пустыре, где до войны стоял кинотеатр. Погибли шестеро. Раненых было больше двадцати. Маргарет стояла в очереди.

Он узнал, что двигатель снаряда замолчал за двенадцать секунд до удара, и что за эти двенадцать секунд люди на улице успели только вдохнуть.

Он высчитал, каков был шанс. Не получилось: нужных данных не было. Но он подсчитал другое: что если бы он тогда, утром, настоял и отправил её к сестре в Бат, она осталась бы жива. Что если бы он сказал «пожалуйста», а не «неразумно», она, возможно, послушала бы. Что если бы он поцеловал её не торопливо, в щёку, а как-нибудь иначе, она, может быть, задержалась бы на лишнюю минуту, и очередь ушла бы без неё.

Это были бессмысленные расчёты. Он понимал. Но занимался ими всю ночь, и следующую, и ещё много ночей.

На похоронах было немного людей.

Сестра из Бата, в чёрной шляпе. Директор школы, пожилой, сутулый, в плаще не по сезону. Несколько девочек, которых отпустили с уроков, и которые стояли у могилы стайкой, как испуганные птицы. Один сослуживец, не знавший,

куда деть руки. И в самом конце, у ограды, немного поодаль, невысокий лысоватый мужчина в очках, которого Рейн знал только по службе: Прайор. Он не подошёл. Он постоял, пока гроб опускали, снял шляпу, надел, повернулся и ушёл. Рейн запомнил это как странную, почти неприличную деликатность: человек пришёл, потому что считал, что должен, и ушёл, потому что понимал, что не нужен.

Алека не было. Алек был в Вашингтоне, в посольстве, и вырваться не мог. Через три недели пришло письмо: длинное, на четырёх страницах, написанное мелким почерком. В нём не было ни слова утешения. Алек писал о погоде, о ценах, о смешном американском чиновнике, который перепутал «Ватикан» с «Версалем». В конце было одно предложение: *«Я не умею писать письма в таких случаях, поэтому пишу о том, что знаю. Когда вернусь, приду с бутылкой и посижу».*

Рейн прочитал это дважды. Потом спрятал письмо в ящик, к запонкам.

В ту осень он научился спать на спине, как на дне колодца.

Научился есть стоя. Научился возвращаться домой окольным путём, чтобы не проходить мимо булочной. Научился не слышать жужжания: оно ещё долго стояло над крышами, и каждый раз, когда оно смолкало, он замирал и считал про себя. Раз, два, три. Это ничему не помогало. Но это была единственная привычка, которая оставалась.

Он понял, что в его профессии, как и в его прежней, глав-

ное не знание, а выдержка. Что можно знать всё и всё равно не успеть. Что число ничего не меняет, если ты не умеешь с ним жить.

Через год Прайор пригласил его в отдел, где работали с шифровальными материалами. Он сказал: «Мне нужен человек, у которого нет причин торопиться домой». Тогда Рейн не спросил, откуда тот знает. Потом понял: тот был на кладбище.

Он надел запонки в первый день на новой службе. Ни разу не снимал на работе. Никто никогда не спрашивал, почему мужчина носит женские запонки. Люди, как выяснилось, не замечают того, что не хотят замечать.

ГЛАВА 3. Единственная страница

Лондон – Арлингтон (Виргиния), февраль – декабрь 1946

Через две недели после ужина в клубе о Гузенко узнали все.

Это произошло так, как всегда происходят такие вещи: сначала шёпот, потом газета. В начале февраля американский радиообозреватель с бархатным голосом объявил по всей Америке, что в Канаде раскрыта шпионская сеть, работающая на Москву. Рейн слушал его в комнате отдела «В» вместе с пятью сотрудниками, сгрудившимися у приёмника, и никто не проронил ни слова. Это было нелепо: все знали больше, чем диктор. Но слышать это вслух, голосом человека, у которого нет допуска, было всё равно что слушать, как чужой пересказывает твой сон.

Пятнадцатого февраля канадское правительство объявило официально. Около дюжины арестованных. Королевская комиссия, два судьи с фамилиями, которые Рейн долго не мог произнести. Заголовки на Флит-стрит были такими, каких Лондон не видел со времён войны: «КАНАДА: СОВЕТСКИЕ ШПИОНЫ ЗА АТОМНОЙ БОМБОЙ». Он купил четыре газеты, прочёл их в метро, на Пикадилли-лайн, между Грин-парком и Холборном, и ни одна не сообщила ему ничего нового. Но в метро, стоя в качающемся вагоне, он ощутил то, чего прежде не знал: пассажиры вокруг читали ту же

новость, и на лицах у них не было удивления. Было что-то хуже. Было узнавание.

— Они всегда это знали, — сказал он Прайору. — Все.

— Что знали?

— Что там, за столом союзников, один из нас уже сидит с чужими картами.

Прайор молча отодвинул пепельницу на три сантиметра влево. Это значило, что тема закрыта.

В марте, в самые тёмные дни, когда Нанн Мэй уже сидел в камере, а отдел «В» пил чай стоя, Прайор вызвал его и положил на стол выжимку.

Это была не вся выжимка: из ста девяти документов, вынесенных из посольства в Оттаве, для британского читателя отобрали около двадцати страниц. Рейн знал, что остальные читают другие люди на других этажах, и привык не спрашивать, кто. Он развернул листы. Машинопись, чёткая, без помарок, с пометкой «Совершенно секретно» в правом верхнем углу каждой страницы.

— Страница одиннадцатая, — сказал Прайор. — Абзац четвёртый.

Рейн нашёл. Там говорилось, что Гузенко со слов сослуживцев, а не из документов, слышал о существовании в британских секретных службах агента Москвы. Об агенте не было почти ничего: ни должности, ни возраста, ни имени. Только кличка, в русской транскрипции, как её произноси-

ли между собой шифровальщики: *«Эли»*. Да ещё то, что этот человек, по слухам, «работает в британской контрразведке» и что в Москве его ценят.

— Слухи, — сказал Рейн.

— Слухи. — Прайор кивнул. — Всё в этом деле слухи. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, как это будет выглядеть, когда вы вернётесь к тетради.

— Как?

— Как приглашение. Вы начнёте искать. Вы будете сопоставлять, строить таблицы, смотреть, кто мог. Вы будете делать это добросовестно, потому что вы добросовестный человек. А через месяц у вас на листе окажется десять фамилий, и у каждого из этих десяти окажется что-то, что можно истолковать так или иначе. И тогда вы окажетесь в положении, из которого нет честного выхода.

— Потому что ничего не доказано.

— Потому что и не будет доказано. Не потому, что нет улик. Потому что такие вещи доказываются только тогда, когда человек сам приходит и говорит. Или когда кто-то из тех, кто за океаном, показывает нам страницу. Всё остальное — гадание.

— Значит, мне не нужно этим заниматься.

— Нужно. Но не здесь. — Прайор постучал пальцем по странице. — Не в этом отделе, не на этой бумаге. В вашей тетради, дома, по вечерам, как вы это уже делаете. И я ничего об этом знать не хочу.

Рейн молчал. Прайор впервые за этот год посмотрел на него не как на сотрудника, а как на человека, с которым можно говорить без протокола.

— Вы удивились, что я не запретил вам вести тетрадь?

— Да.

— Я не запретил по той же причине, по какой не позволю её вести в служебное время. Если вы будете вести её здесь, она станет делом. Дело — это то, что можно потерять, украсть, открыть. Тетрадь на вашей кухне — это только мысль. А мысль, Эдмунд, — единственная вещь, которая в нашей профессии ещё не принадлежит государству.

Он собрал листы, отдал Рейну, не глядя.

— Возвращайтесь к работе.

В коридоре Рейн остановился у окна. Двор был серый, мокрый, с одним чахлым деревом. Он подумал, что только что услышал самую откровенную фразу за все месяцы службы, и что именно такие фразы люди говорят, когда хотят, чтобы их забыли.

«Алек» был арестован четвёртого марта.

Рейн узнал об этом не из рапорта, а из того, что в коридоре стало тихо. Не пусто, а именно тихо, как в больнице за минуту до того, как врач выходит из палаты. Люди ходили на цыпочках, хотя никто их не просил.

Потом был допрос. Не его: он не участвовал. Он читал стенограммы. Они приходили на третий этаж в запечатанных конвертах, дважды в день, и он читал их за своим столом,

прикрыв листы ладонью, хотя Пейтон давно перестал интересоваться чем-либо, кроме часов. Допрашивал человек по фамилии Скардон, инспектор Скотленд-Ярда, прикомандированный к Службе. Рейн никогда не видел его вблизи, но по стенограммам знал его манеру: он никогда не повышал голоса, никогда не торопил, никогда не угрожал. Он просто задавал вопросы так, как задают вопросы старому знакомому, у которого что-то не складывается, и ждал, пока человек сам не придёт туда, откуда ему уже некуда деться.

Нанн Мэй пришёл. Через несколько часов он признал, что встречался с представителем русских, что рассказывал ему о своей работе, что взял деньги и бутылку виски. Всё остальное было тем, что на языке канцелярии называлось «мотивами». Он не думал, что причиняет вред. Он считал, что союзникам нужно знать то, что знают другие союзники. Он говорил это негромко, отстранённо, как говорят люди, которые давно объяснили себе всё и теперь только повторяют заученное.

Рейн отложил стенограмму и долго смотрел на стену.

Он ожидал чувства победы. Вместо этого ощущал только усталость и странный, неуместный стыд, как будто ему показали чью-то спальню.

На следующий день по радио передали речь Черчилля из американского городка Фултон. «От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, — читал диктор тем ровным голосом, каким читают некрологи, — над континентом опустился же-

лезный занавес». Рейн слушал стоя, с чашкой в руке. Чай остыл. В соседней комнате кто-то сказал: «Он прав». Кто-то другой ответил: «Он всегда прав, когда не у власти».

Первого мая Нанн Мэй был приговорён в Олд-Бейли к десяти годам каторжных работ. Он заявил суду, что признаёт себя виновным. Рейн читал приговор в газете, напечатанный мелким шрифтом на четвёртой полосе. Рядом были цены на мыло и расписание пароходов.

Тетрадь тем временем росла.

Это была уже не одна тетрадь. Четвёртая, считая с осени. Он вёл её по вечерам, у себя на кухне, не в Службе: на то было четыре причины, из которых самой веской была та, что в Службе его бы спросили, зачем. Он не знал зачем. Он знал только, что это нужно.

В тетради были клички. К весне их накопилось сорок одна. Не только из бумаг Гузенко: он вытаскивал клички из всего, что попадало под руку. Из отчётов наружной разведки, из показаний, из перехваченных писем, из протоколов канадской комиссии, которые мало-помалу доходили до Лондона. Каждая кличка получала строку. В строке было: когда впервые упомянута, где, кем, в каком контексте. Рядом оставлялось место для имени. Мест было много. Имён, заполнивших их, — шесть.

— Это зачем? — спросил однажды Пейтон, заглянув ему через плечо. Рейн не ответил, а только закрыл тетрадь. Пейтон пожал плечами и вернулся к своей газете.

Но мисс Далримпл, у которой он ежедневно заказывал справки, спросила иначе.

— Мистер Рейн. Вам нужны папки по всем этим кличкам?

— У клички нет папки, мисс Далримпл.

— Конечно, нет. — Она поправила очки. — Но у каждой клички, мистер Рейн, есть человек. И у человека, если он что-то сделал, бывает папка. Она может лежать не там, где вы ищете.

— Вы хотите сказать…

— Я хочу сказать, что я помню фамилии. Когда у вас будет что искать, скажите. Я посмотрю, нет ли чего-нибудь забытого.

Он поблагодарил. Она кивнула и вернулась к работе, но этот короткий разговор остался с ним: впервые за полгода кто-то понял, что он делает, и не спросил зачем.

В тот же вечер он стоял у ящика с буквой «Х».

Было почти девять. В подвале Регистратуры горели только дежурные лампы; две женщины разбирали ночную почту у дальнего стола. Ящик с «Х» был узким, обитым жестью, и в нём, между «Харпер» и «Хейвуд», лежала карточка, которую он видел сотни раз, не читая: *«Харроу, Александр Дж.»*.

Рейн стоял, положив ладонь на ручку ящика.

Он говорил себе: это ничего не значит. Каждый, кто служит в Форин-офисе, имеет карточку. Каждый, кто бывал в Кембридже в тридцатые годы, имеет карточку. Это просто бумага, которая лежит. Достать её, посмотреть, убедиться,

что там ничего, кроме формальностей, и положить обратно. Это ничего не стоит. Это его право: он аналитик контрразведки, у него допуск к любым делам.

Но ящик не открылся.

Потому что в этом был другой смысл, который он понимал яснее, чем хотел бы. Если он откроет ящик, он перестанет быть человеком, который ужинал с Алеком Харроу и пил за тех, кто ничего не слышал. Он станет человеком, который проверил. И этого не исправить: нельзя «проверить» один раз и забыть, как нельзя один раз усомниться в человеке и сделать вид, что не усомнился. Не потому что проверка что-то изменит. Потому что он изменится.

Он убрал руку.

— Вам что-нибудь нужно, мистер Рейн? — спросила одна из женщин.

— Нет, спасибо. Я ошибся ящиком.

Он поднялся наверх по лестнице, где пахло мокрыми пальто, и пошёл домой по Керзон-стрит, не думая ни о чём, потому что думать было нельзя.

Через четыре дня Алек позвонил и предложил погулять.

Это была его старая привычка, ещё с университета: когда нужно что-то сказать, он звал на прогулку. Они встретились в воскресенье в Кью-гарденс, у входа с Лайон-гейт, и некоторое время просто шли по главной аллее, мимо оранжерей, под голыми ещё деревьями. Было прохладно и пасмурно. По дорожкам гуляли пары, няни с колясками, одинокие старики

с палками. На одном из прудов дети пускали бумажные кораблики, и их крики долетали издалека, чистые и бессмысленные, как птичьи.

— Я скучаю по Вашингтону, — сказал Алек.

Рейн посмотрел на него.

— Не по городу. По еде. Ты не представляешь, что такое мясо, которое не по карточкам. Мясо, о котором не нужно ни с кем договариваться. Я жил в пансионе у вдовы, миссис Пейс. Каждое утро она ставила передо мной яичницу из трёх яиц и ломтики бекона, и говорила: «Мистер Харроу, вы худой». Я говорил: «Миссис Пейс, в Англии все худые». Она качала головой. Она не верила, что на свете есть страна, где людей кормят по купонам.

— Ты ей объяснил?

— Пытался. Она решила, что я шучу.

Они дошли до пруда. Алек остановился, глядя на мальчишек. Один из корабликов перевернулся, и мальчик, смешно взвизгнув, полез в воду.

— Знаешь, что самое странное, — сказал Алек. — Я был там два года и ни разу не чувствовал себя дома. Но вернулся сюда и тоже не чувствую.

— Это пройдёт.

— Наверное. — Он усмехнулся. — Ты теперь говоришь, как врач.

— Я говорю, как человек, у которого тоже не проходит.

Они помолчали. Было слышно, как где-то за деревьями

гудит поезд.

— Я много ездил, — сказал Алек. — Туда и обратно. Вашингтон — Нью-Йорк, Нью-Йорк — Вашингтон. Иногда по делам, иногда просто так. Нью-Йорк — единственный город, где можно затеряться, не прилагая усилий. Там никто не знает, кто ты. Никому не нужно, чтобы ты кем-то был.

— Звучит как облегчение.

— Это и было облегчением. — Алек поднял глаза на небо. — Я пожил там вне Службы, вне посольства, вне всего. И понял, что мне нравится быть никем.

Рейн не спросил, что он имеет в виду. Он ощутил лёгкое, едва заметное беспокойство, как бывает, когда в комнате, где всё стоит на местах, что-то сдвинулось на сантиметр. Он не мог бы сказать, что именно. Просто Алек на секунду стал чуть более далёким, чем был.

— Я тебя не обременяю? — спросил Алек.

— Нет.

— Хорошо. Потому что мне не с кем об этом говорить. Дафни… — Он осёкся. — Ты не знаешь Дафни. Она работает в секретариате. Милая. Но у неё нет привычки выслушивать.

— Ты собираешься жениться?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Все так делают. Мне сорок два.

Они пошли дальше. Аллея вывела их к стеклянной оранжерее, влажной, пахнущей землёй и орхидеями. Они вошли.

Внутри было тепло, и на стёклах оседали капли. Рейн снял пальто, повесил на руку.

— Эдмунд, — сказал Алек негромко. — Ты хороший друг. Не обижайся, но я часто думаю, что ты слишком хороший. Ты никогда ничего не просишь. Никогда не требуешь. Ты просто есть. Это страшно удобно. И немного грустно.

— Почему грустно?

— Потому что человеку нужно, чтобы от него что-то хотели. Иначе он не уверен, что существует.

Рейн промолчал. Он смотрел на крупные влажные листья, на красные цветы, которые росли прямо из ствола дерева, и думал, что это одна из тех фраз, которые запоминаются не потому, что они значат что-то важное, а потому, что они сказаны в нужный момент не тому человеку.

Он вспомнил об этом гораздо позже, в другом году, в другой комнате.

Он сказал себе, что ничего не меняется. Что он ходит к Алеку гулять, а не следить за ним. Что граница между этими двумя вещами у него в руках.

Она была в руках, и он держал её как тонкое стекло.

Вечерами он готовил себе ужин.

Это можно было назвать готовкой лишь из вежливости. Он ставил на газ кастрюлю с картофелем, нарезал кусок холодной баранины, который покупал раз в неделю на карточку, и ел, стоя у окна, не разжигая лампы. На подоконнике росла герань. Её посадила Маргарет, и он поливал её по при-

вычке, не думая, не зная, любит ли он эти цветы. Он ухаживал за ней, потому что боялся, что если герань засохнет, засохнет и что-то ещё, чему он не мог дать названия.

В шкафу в прихожей по-прежнему висело её пальто: серое, с каракулевым воротником, купленное в тридцать восьмом. Он не снимал его. Не потому, что надеялся: он был не из тех, кто надеется. Просто это было последнее, что в этой квартире ещё пахло ею. Через два года пальто перестало пахнуть, но он этого не заметил.

Он ел, потом мыл посуду, потом садился за стол и открывал тетрадь. Свет лампы падал на страницу ровным жёлтым кругом. За окном шёл дождь или не шёл. Где-то внизу хлопала дверь, поднимался по лестнице сосед, кашлял, звякал ключами. Рейн писал кличку, под ней дату, под датой фамилию свидетеля и источник. Строка за строкой. Это было похоже на молитву: бессмысленную, но успокаивающую.

Он понимал, что тетрадь стала для него чем-то большим, чем рабочий инструмент. Она стала способом не думать о другом. Каждый вечер, закрывая её, он чувствовал, что день прожит не зря, хотя сказать, что именно он сделал, не мог бы.

Иногда ему казалось, что он ищет не шпионов, а себя в том времени, когда у него была жена.

Лето принесло новые карточки. В июле ввели хлебные, чего не было даже в войну; люди стояли в очередях с лицами, на которых написано было то, что нельзя печатать. В отделе «В» говорили о том, что Москва, должно быть, довольна: те-

перь британцы не смогут не замечать, как они живут. Рейн в этих разговорах не участвовал. Он ходил на службу, сидел над тетрадью, ел в столовой бутерброды с рыбной пастой и два раза в месяц обедал в Кенте.

Осенью его перевели в другое крыло.

Не повысили, перевели. Прайор объяснил это двумя фразами: структура меняется, отделу нужны люди, которые «умеют ждать». Рейн не стал уточнять. Он знал, что в языке Службы эти слова означают: будет работа, которую нельзя ускорить. Работа, в которой нечего показывать. Он принял новое назначение так, как принимают погоду.

В тот год осень в Лондоне была самой обычной. Туманы. Скверный уголь. Люди, которые переходят улицу, не глядя по сторонам: смотреть всё равно было не на что. Он шёл вечерами домой и считал клички. Сорок одна. Сорок три. Сорок четыре.

Где-то в этих числах, в строчках, написанных его убористым почерком, лежало что-то, чего он ещё не умел прочесть.

В Виргинии в тот же год шёл дождь.

В Арлингтоне, в нескольких милях от Вашингтона, стояла старая женская школа с красным кирпичом и колоннами, которую армия забрала в сорок втором году и больше не вернула. За колючей проволокой, по дорожкам между новыми деревянными бараками, ходили люди в штатском и в мундирах. Теперь здесь была Служба безопасности связи армии.

Раньше, во время войны, тут работали тысячи людей, расшифровывавших японские и немецкие депеши. После войны их осталось несколько сотен. Остальные разъехались по домам, и бараки опустели.

В одном из них, в небольшой запертой комнате с занавешенным окном, сидел человек в очках и разбирал колонки пятизначных групп.

Его звали Мередит Гарднер. Ему было тридцать четыре года. До войны он преподавал языки; знал их, как говорили, около дюжины, и одним из них был санскрит. Он был тихим, невысоким, всегда в одном и том же костюме. О нём говорили, что он никогда не рассказывал, над чем работает, и что в этом не было ничего необычного: здесь никто никому ничего не рассказывал. Но Гарднер молчал иначе: так, как молчит человек, который не уверен, что вообще есть о чём говорить.

С начала сорок третьего года армия собирала советские шифрованные телеграммы: консульства, торговые организации, представительства в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско. Они приходили целыми кипами, и их никто не мог прочесть. Это были цифровые группы, пять цифр подряд, каждая из которых стояла за словом, слогом или буквой по кодовой книге. А поверх кода шёл ещё слой: одноразовый блокнот, набор случайных чисел, которыми числа кода «затирались» так, чтобы любая попытка прочесть её по частотам заканчивалась ничем. Одноразовый блокнот, если пользоваться им правильно, невзламываем. Любой криптограф

скажет вам это.

Но в сорок втором году, в тяжёлые месяцы, когда немцы стояли под Москвой, а типографии в страшной спешке печатали блокноты, кто-то где-то допустил ошибку. Часть страниц напечатали дважды. Дважды, с теми же числами, и разослали в разные места. Это не должно было иметь последствий: блокнот попадает к одной станции, другой экземпляр к другой, ничего общего. Но иногда страницы с одним номером доставались разным людям в одном и том же городе, или разным шифровальщикам и пользовались ими год за годом, пока кто-то в Арлингтоне, лейтенант по фамилии Хэллок, не заметил, что две телеграммы, не имеющие, казалось, ничего общего, шифруются одним и тем же рядом чисел.

Это было начало.

С тех пор прошло три года. Люди работали, как работают над огромной мозаикой, у которой нет образца: набирая группы, находя совпадения, подбирая смысл. Они не читали телеграмм. Они читали отдельные куски, самые простые, чаще всего числа или слова, которые попадались одинаково во многих телеграммах. Они знали, что за этой стеной стоит нечто, и знали, что стена не поддаётся.

В тот вечер, двадцатого декабря, Гарднер сидел один.

Часы на стене показывали половину восьмого. Дождь давно перестал, на подоконнике собирались капли. Он держал перед собой лист: короткая телеграмма, нью-йоркская, сорок четвёртого года. Он смотрел на неё уже не первую неде-

лю. Накануне он нашёл ключ к одной группе. Потом к другой. Потом оказалось, что третья, которую он считал бессмысленной, говорит о чём-то совершенно определённом.

Он подставил слово. Потом другое. Потом, почти не веря, подставил третье.

И строчка перед ним, с цифровой кашей, которую он читал неделями, как читают камень, вдруг стала речью.

Это был список. Фамилии людей. Учёные. Имена, которые Гарднер знал бы и без шифра: имена, которые произносились шёпотом по обе стороны океана. Люди, работавшие над единственной вещью, о которой в сорок четвёртом году нельзя было говорить вслух. Кто-то в Нью-Йорке, в Москве, в центре, аккуратным канцелярским слогом перечислял их, как в ведомости.

Он положил карандаш.

Потом снял очки, протёр их краем рубашки и снова надел. Не оттого, что они были грязные. Оттого, что надо было что-то делать руками.

Он не позвал никого. Он ещё минуту сидел так, глядя на лист, на котором русская речь, пробившаяся сквозь четыре года тишины, смотрела на него коротко и буднично. Потом встал, подошёл к окну и отодвинул занавеску. За окном стояла мокрая Виргиния, огни бараков, колючая проволока, и никто в мире не знал, что только что произошло.

Это была не первая прочитанная им строка, но первая страница, которая что-то значила.

Он вернулся к столу. Ему предстояло прочесть ещё очень много.

ГЛАВА 4. Парные страницы

Лондон – Ист-коут – Кент, январь – ноябрь 1947

Зима сорок седьмого года пришла в конце января и забыла уйти.

Рейн привык считать зимы по числу свитеров. В сороковом он носил один, в сорок первом два, в сорок втором, когда немцы ещё бомбили, три. Теперь, в сорок седьмом, он надевал под рубашку жилет, поверх неё два свитера, а поверх них пальто, и всё равно не мог согреться. Угля не было. В Лондоне вообще не было ничего, что горит. Правительство, объясняя это по радио словами, смысл которых был в том, что никто не виноват, закрыло на несколько часов в день фабрики, потом электростанции работали на половину мощности, и ранним вечером в окнах контор загорались свечи. Канцелярские люди в пальто сидели за столами, как в окопе, и печатали, не снимая перчаток.

В Службе на третьем этаже температура у окна опускалась до пяти градусов. Пейтон принёс из дому грелку и объявил, что его желудок не выдерживает режима. Прайор, не меняясь в лице, сидел в жилете и тёплом пальто и говорил, что холод хорош тем, что способствует краткости.

Тетрадь Рейна к февралю насчитывала пятьдесят две клички.

Он уже не вёл её дома, на кухне, где вода в чайнике но-

чью покрывалась коркой льда. Он вёл её в Службе, в рабочее время, и Прайор, знавший об этом наверняка, ни разу не спросил. Это было ещё одно из тех неписаных разрешений, которых в этом доме выдавалось больше, чем писаных.

В середине февраля, когда отключения стали ежедневными, Пейтон впервые за год остался после шести.

Рейн заметил это не сразу. Он сидел над тетрадью при свече, которую Прайор распорядился выдавать каждому «до особого распоряжения», и понял, что в комнате кто-то дышит. Пейтон сидел за своим столом, в пальто и вязаной шапке, без газеты, без грелки и смотрел в окно, где на мокром стекле дрожал огонёк чужой свечи из дома напротив.

— Вы не идёте домой?

— Домой, — повторил Пейтон. — А что там? Жена в Истбурне у сестры, потому что там, говорят, теплее. Печь не топится. Кот ушёл.

— Куда?

— К соседям. Там тепло. — Он усмехнулся уголком рта. — Даже кошки голосуют ногами.

Рейн промолчал. Он привык к Пейтону как к предмету мебели: к его опозданиям, к жалобам на желудок, к вечному запаху мятных леденцов. Теперь перед ним сидел немолодой растерянный человек, которому некуда идти, и это было неожиданно тяжело.

— Я хотел спросить, — сказал Пейтон негромко. — Вы не обидитесь?

— Нет.

— Вы пишете что-то не по службе. Я не спрашиваю что. Я видел, что вы закрываете. Я не смотрел.

— Я знаю.

— Я хотел сказать, что не скажу. Никому. Я не из тех. — Он поправил шапку. — Я ленивый, это правда. Но я не доносчик. Нас таких, ленивых, здесь немало, и поверьте, мы лучше, чем те, кто старается.

— Почему?

— Потому что мы не верим, что знаем, как надо. Те, кто старается, верят. — Он кашлянул. — Я двадцать лет в этом здании. Сначала думал, что мы охраняем страну. Потом что мы охраняем государство. Теперь думаю, что мы охраняем собственное расписание. Утром придти, вечером уйти, между ними положить бумагу. Это не так мало, как кажется. Это, может быть, вообще всё, что человек способен охранить.

Рейн вдруг поймал себя на том, что слушает с вниманием, которого этот человек в течение года не удостаивался.

— Спасибо, — сказал он.

— За что?

— За то, что не смотрели.

Пейтон кивнул и встал. Тяжело, по-стариковски, хотя ему не было и пятидесяти.

— Я пойду, — сказал он. — Может, кот вернулся.

Он ушёл. Рейн остался один со свечой. Пламя вытянулось и дрогнуло, будто кто-то прошёл мимо. Он подумал, что за

всё это время ни разу не спросил ни одного из своих коллег о том, как они живут, и что в этом, возможно, главная причина, по которой он никого из них не знает.

— Эдмунд, — сказал Прайор в середине марта. — Вам нужно съездить в одно место.

— Куда?

— В Ист-коут.

Рейн знал это название: так называлась станция метро на дальнем конце Пикадилли-лайн, за которой начинались огороды. Ничего другого он не знал. Прайор ничего больше и не добавил, только написал на листке бумаги время и фамилию и протянул ему.

— Это человек из Центра связи, — сказал он. — Вы с ним поговорите. И, Эдмунд.

— Да?

— То, что вы там услышите, вы нигде не запишете.

Центр правительственной связи занимал площадку за забором, на которой ещё недавно стояли бараки и огородные грядки. Для людей, которые провели войну в Блетчли, это был не дом, а временное жильё: здесь пахло мастикой и мокрой одеждой, коридоры были выкрашены в тот зелёный цвет, который казённые учреждения предпочитают по всему миру. Люди ходили быстро и не смотрели в лица. Здесь привыкли не смотреть.

Его встретила женщина лет тридцати пяти, высокая, с коротко остриженными русыми волосами и усталым лицом че-

ловека, который много лет спит меньше нормы. Она протянула руку, как мужчине.

— Калдер. Доктор Калдер. Вы Рейн?

— Да.

— Прайор сказал, что вы математик.

— Я был актуарием.

— Это то же самое, только платят меньше. — Она улыбнулась уголком рта и повела его по коридору. — Я не буду вас водить по зданию. У нас ничего нет. Мы нищие и без отопления. Пойдёмте в мою нору.

Нора оказалась комнатой без окна, с двумя столами, чугунной батареей, едва тёплой, и классной доской. На доске была выведена столбиком вереница пятизначных чисел.

— Присаживайтесь. Я расскажу вам одну историю. Она не секрет только потому, что здесь никто не верит, что она вообще существует.

Рейн сел.

— Вы знаете, как работает одноразовый блокнот?

— В общих чертах. Читал.

— В общих чертах — это хорошо, подробности вам скоро надоедят. — Она подошла к доске. — Представьте, что у вас есть слово. «Нью-Йорк». Вы не пишете «Нью-Йорк». Вы открываете кодовую книгу и находите там для этого слова число. Допустим, 31415. Теперь представьте, что у вас есть второй листок, на котором напечатаны случайные числа. Просто ряд цифр, без смысла. Допустим, 90817. Вы складыва-

ете первое со вторым, цифру с цифрой, не перенося десятки. Тройка плюс девятка — двенадцать, пишем два. Единица плюс ноль — один. Получаете 21222. Это шифр. Его отправляют в эфир.

— И нельзя прочесть.

— И нельзя прочесть, если случайные числа действительно случайны и если их используют один раз. Один. Каждая страница блокнота, использованная однажды, сжигается. Тот, кто перехватывает вашу телеграмму, видит ряд цифр, который может означать что угодно. Для любого слова на свете найдётся такой ключ, при котором 21222 превращается в него. Это математически доказано. Нет способа определить, какой из них верный.

— Тогда зачем мы здесь сидим?

— Потому что люди — не математика. — Доктор Калдер взяла кусок мела и написала под первым числом второе. — Теперь представьте, что в сорок втором году, когда немцы стояли под Москвой, а типографии работали в три смены, кто-то напечатал одну и ту же страницу блокнота дважды. Две копии. Двух разных адресатов. Вы послали одно сообщение, а ваш коллега в другом городе — второе. Оба использовали страницу номер, скажем, тринадцать.

Она написала на доске: 27182 и ключ 90817.

— Складываем по тому же правилу. Два плюс девять — одиннадцать, пишем один. Семь плюс ноль — семь. Один плюс восемь, девять. Восемь плюс один, девять. Два плюс

семь, девять. Получилось 17999. Два шифра: 21222 и 17999. Если у вас в руках оба, вы можете вычесть один из другого. Поразрядно, без переноса.

Она быстро написала: 14333.

— Это не слово. Это разность двух слов. Ключ исчез. Он ушёл, понимаете? Пока он был у вас в двух экземплярах, он вычитается и пропадает, как вода в песке. Остаётся только разность двух кодовых чисел. А кодовые числа — это слова из словаря. Человеческие слова. Не случайные. У них есть частоты, привычки, повторы. Их можно угадывать.

— Угадывать, — повторил Рейн.

— Угадывать. С бумагой и мелом. Месяцами. Но можно. Если у вас хватит терпения и телеграмм, у вас получится. Американцы, — она повернулась и положила мел, — делают это с сорок третьего года.

Это было сказано так просто, что он не сразу понял.

— Американцы?

— Они начали первыми. Мы ничего не знали. — Она села на край стола и скрестила руки. — Всё, что вы слышите, мистер Рейн, — слухи с той стороны океана. У них там есть небольшая группа. Не лаборатория, а скорее несколько человек в запертой комнате. Они нашли повторные страницы, три или четыре года назад. Сначала лейтенант, потом женщина-математик, потом ещё кто-то. Они выяснили, что номера страниц, которыми пользовались шифровальщики, передавались в начале телеграммы, в открытом виде, отдель-

ной группой. Если две телеграммы начинаются с одной и той же группы, значит, они зашифрованы одной и той же страницей. Можно искать пары. Тысячи пар. Они нашли тысячи.

— Сколько всего страниц было напечатано дважды?

— Тридцать пять тысяч. По их оценке. — Она помолчала. — Многие использовали годами. В разных городах. Нью-Йорк, Вашингтон, Лондон, Сан-Франциско.

— Лондон?

Она не ответила прямо.

— Я не сказала, что у нас есть что-то про Лондон. Я сказала, что страницы разослали повсюду. — Она посмотрела на него долгим взглядом, тем, что оценивает, сколько человек выдержит. — Прайор сказал, что вы ведёте список кличек.

Рейн не стал спрашивать, откуда она знает.

— Да.

— Покажите.

Он достал из портфеля тетрадь. Она взяла, быстро пролистала, остановилась на нескольких страницах, поморщилась.

— Это очень аккуратно.

— Это очень мало.

— Я не сказала «мало». Я сказала «аккуратно». — Она вернула ему тетрадь. — Мне нужно, чтобы вы понимали, в какой игре участвуете. Через океан есть человек, лингвист, который почти год сидит один и вытаскивает слова из этих разностей. Он делает то, что вы делаете: он собирает клички. Но он собирает их не из бумаги, а из самих шифров, из

слов, которые Москва ставит вместо настоящих имён. Он, возможно, даст нам список. Не сейчас. Когда у них будет что давать. Вы должны будете его прочесть. Вы единственный, кто сможет сравнить.

— С чем?

— С тем, что у вас в тетради. — Калдер встала. — Всё, что я говорю, не существует. Идёмте, я угощу вас чаем. У нас здесь хотя бы горячая вода.

Обратно он ехал в вагоне, где никого не было, кроме двух рабочих с ящиками и женщины, спавшей с открытым ртом.

Поезд метро шёл над землёй, мимо огородов, мимо серых заборов, между которыми торчали голые яблони, чёрные на фоне мартовского неба. Рейн смотрел в окно и повторял про себя числа. 31415. 90817. 21222. Это было странное чувство: как будто он держал в руках не цифры, а чью-то жизнь, сложенную вдвое, и пытался разгладить складку.

Он вспомнил, как Маргарет учила детей складывать в столбик. У неё в классе была доска с нарисованным мелом деревом, на ветках которого росли числа. Ученицы сначала путались, плакали, потом вдруг, в один день, понимали и смотрели на неё такими глазами, будто она открыла им тайну мира. «Они не любят математику, — говорила Маргарет вечером, — они любят момент, когда она перестаёт быть чужой».

Он подумал, что сегодня, в комнате без окна, почувствовал то же самое. Не открытие. Узнавание. Как будто что-то,

давно лежавшее в нём без названия, вдруг получило имя и стало цифрами.

На станции «Холборн» в вагон вошла девочка лет восьми с мамой. Девочка села напротив и принялась считать вслух, загибая пальцы: фонари на платформе, окна поезда, пассажиров. Мама не слушала.

— Двенадцать, — сказала девочка.

— Тринадцать, — машинально поправил Рейн, потому что в вагоне, считая и его самого, было тринадцать человек.

Девочка посмотрела на него серьёзно, без смущения.

— Это несчастливое число.

— Не для тех, кто считает, — сказал он.

Она не поняла, но кивнула и снова принялась считать. Рейн улыбнулся, впервые за много недель, и, кажется, тут же забыл об этом.

Список пришёл осенью.

Не по почте, не по телеграфу. В последних числах октября Прайор вызвал Рейна в кабинет, закрыл дверь на ключ, чего никогда прежде не делал, и положил на стол конверт. Внутри был один лист машинописи, без заглавия, без подписи, без печати. Бумага, которая не принадлежала никому.

— Это пришло через Ист-коут, — сказал Прайор. — Из Америки. Они хотели, чтобы вы посмотрели. Не мы: они. Читайте.

На листе было тридцать восемь строк. Каждая — слово, кличка, и рядом краткая отметка: «Нью-Йорк», «Ва-

шингтон», «упоминается 1944», «в связи с Бостоном», «источник в учреждении». Никаких имён. Ни одного человека, только слова. «Рыбак». «Кожевник». «Либерал». «Скрипач». «Плотник». Те же слова, которыми он заполнял свои тетради, только не те же. Другие.

Рейн читал медленно. Потом открыл портфель и достал тетрадь.

Он положил её рядом с листом и стал сравнивать. Сначала карандашом по строчкам, потом, когда стало ясно, что искать нечего, просто глазами. Он знал свои клички наизусть: все пятьдесят семь. Они были для него как знакомые лица в толпе. Ни одного лица на листе он не узнал.

— Ну? — сказал Прайор.

— Ни одного совпадения.

— Ни одного?

— Ни одного. — Рейн поднял голову. — Это не те люди, которых назвал Гузенко. И не те, которых мы знаем из канадских допросов.

Прайор откинулся в кресле.

Они молчали несколько минут. Радиатор у окна щёлкнул, выпустил порцию тепла. Ниже, за стеклом, шёл мелкий ноябрьский дождь, и фонари на Керзон-стрит светились красным.

— Я думал, будет легче, — сказал Рейн наконец.

— Что?

— Я думал, что у нас два списка, и они пересекутся. Что

это одни и те же люди. Тогда мы бы знали, что держим один конец одной верёвки. А тут два разных мира. Два разных набора людей, о которых мы ничего не знаем, и ни один не лежит рядом с другим. — Он сложил руки. — Совпадением это не назовёшь, мистер Прайор. Хуже.

— Хуже?

— Это значит, что их много. Сколько человек в этом списке? Тридцать восемь. Сколько у нас? Пятьдесят семь. А совпадений нет. Значит, всего их, если считать по такой логике, не сто, а несколько сотен. Может быть, тысяча.

— Ваши рассуждения основаны на двух выборках.

— Вы правы. Но я привык доверять двум выборкам. — Он взял лист и ещё раз посмотрел на него. — Это значит, что Москва работает не как организация. Как климат.

Прайор молчал.

Потом сказал:

— Вы никому об этом не скажете.

— Нет.

— Я знаю. — Он забрал лист, сложил, положил в конверт, запер в ящик. Перед тем как повернуть ключ, остановился. — Эдмунд. Вы понимаете, что в этом списке, возможно, есть кто-то, с кем вы знакомы?

— Да.

— Вы к этому готовы?

Рейн долго не отвечал. Он не знал, что отвечают на такие вопросы.

— Нет, — сказал он наконец. — Но это не меняет работы.

Через неделю после того, как Прайор запер лист в ящик, он неожиданно пригласил Рейна на ужин.

Рейн не сразу понял, что это значит. За два года службы он ни разу не был в доме Прайора: тот жил где-то в Челси, на тихой улице у реки, и никогда не упоминал об этом. Когда он протянул Рейну листок с адресом, на лице у него было выражение человека, который делает что-то слегка неприличное.

— Жена настаивает, — сказал он. — Она хочет познакомиться с человеком, о котором я столько говорю.

— Вы говорите обо мне?

— Я говорю о работе. Но получается, что о вас.

Дом оказался узким, четырёхэтажным, в ряду таких же, с чёрными перилами и белой дверью. Рейн позвонил. Открыл Прайор в тёмном домашнем пиджаке, без галстука. Он выглядел старше и мягче, чем на службе.

— Входите. Руфь ждёт.

Руфь сидела в гостиной в кресле на колёсах.

Это было первое, что Рейн увидел, и он на мгновение растерялся. Женщина лет пятидесяти, с гладкими седыми волосами и тонким умным лицом, в синей шали. Руки лежали на подлокотниках неподвижно, как две вещи, о которых забыли. Она улыбнулась.

— Не смущайтесь. Все смущаются. Я привыкла. — Голос у неё был низкий, чуть хриплый. — Джеральд не предупредил, что я калека?

— Не предупредил.

— Он редко предупреждает. Это его способ меня защищать: делать вид, что ничего нет. — Она бросила на мужа ласковый, чуть насмешливый взгляд. — Садитесь, мистер Рейн. Ужин простой. Нам с Джеральдом уже давно не до роскоши.

Ужин и вправду был простым: суп, отварная рыба, картофель, яблочное желе. Руфь ела сама, медленно, с трудом поднимая вилку, и Прайор не помогал ей: Рейн заметил, что он нарочно смотрит в тарелку, давая ей возможность делать то, что она хочет делать сама. Они говорили о пустяках: о морозах, об угле, о новом романе, который Руфь читала. Рейн отвечал, и удивлялся, как легко ему здесь дышится.

Когда Прайор вышел на кухню за чаем, Руфь вдруг сказала:

— Он боится за вас.

Рейн вздрогнул.

— Простите?

— Он ничего не говорит, но я знаю. Он двадцать пять лет в этой профессии. Он научился не показывать. Но дома он молчит иначе, когда боится. Он молчит, когда думает о вас.

— Мне кажется, вы ошибаетесь. Мистер Прайор…

— Мистер Рейн. — Она посмотрела на него прямо. — Я не прошу вас ничего говорить. Я просто хочу, чтобы вы знали: у вас есть человек, который не хочет, чтобы вы сломались. Это немало. В вашем положении это, возможно, всё.

— В каком положении?

— Вы потеряли жену. — Она произнесла это негромко, без жалости. — Джеральд рассказал мне. Не в подробностях. Я не требую подробностей. Но я знаю, что это такое: когда мир остаётся на месте, а твой собственный исчезает. Мой тоже исчез когда-то. Двенадцать лет назад. В один день я перестала ходить.

— Мне очень жаль.

— Не надо. Я научилась жить в этом. Можно научиться. Только нужно, чтобы кто-то был рядом и не требовал, чтобы ты была прежней. — Она слабо усмехнулась. — Джеральд не требует. Вот почему я его не выгоняю.

Из кухни донёсся звон посуды. Руфь понизила голос.

— Он вас использует, мистер Рейн. Вы это знаете?

— Да.

— И всё равно работаете.

— Да.

— Хорошо. — Она кивнула. — Значит, вы тоже не требуете.

В этот момент вернулся Прайор с чайником. Он поставил его на стол, посмотрел на жену, на Рейна, и, кажется, всё понял. Но ничего не сказал. Только налил чай, и руки у него были тёплые, чуть дрожащие.

Когда Рейн уходил, Руфь протянула ему руку, и он, неожиданно для себя, склонился и поцеловал её, как это делали в прошлом веке. Она засмеялась.

— Приходите ещё.

— Приду.

— Врёте, — сказала она ласково. — Но спасибо.

На улице стоял морозный туман. Он шёл вдоль реки, по набережной, слыша, как внизу, под мостом, скрипит лёд. И думал, что за всё это время, как только начал вести тетрадь, никому, кроме Алека, не позволил к себе приблизиться, и что вот теперь, в одном вечере, двое чужих людей сделали то, что он считал невозможным.

В воскресенье он поехал в Кент.

Алек встретил его на станции в старой машине сестры, с такой улыбкой, будто виделись не три недели, а три года. Дом стоял в деревне на меловом холме, дымил двумя трубами и был набит людьми, которые все говорили сразу: сестра Алека Джоан с мужем-адвокатом, двое детей, дальний кузен-фермер. Обед состоял из тушёного кролика, моркови и пирога, который Джоан называла «победой над карточками». Рейн ел с аппетитом и чувствовал себя счастливым и виноватым. Виноватым за то, что счастлив. За то, что в портфеле, оставленном в прихожей, лежала тетрадь с пятьюдесятью семью кличками, одну из которых, быть может, носил человек, сидящий напротив него.

После обеда они вдвоём вышли на холм.

Земля была сырой, небо низким, и в воздухе пахло дымом и мокрой травой. Далеко внизу лежала долина с рядами голых яблонь, а на горизонте дрожала полоска моря. Они шли

молча, и Рейн почувствовал, как в груди разжимается что-то, что он не знал, что сжато.

— Хорошо здесь, — сказал он.

— Ты всё время говоришь «хорошо», когда имеешь в виду «тяжело». — Алек засмеялся и подобрал палку, ковырнул ею землю. — Я тоже. Мы оба так говорим. Это у нас с университета.

— У тебя как на службе?

— Скучно. — Алек отбросил палку. — Знаешь, я в последнее время думаю о Вашингтоне. Вот там было интересно. Три года. Помнишь, ты писал мне туда, а я отвечал раз в полгода?

— Помню.

— Посольство на Массачусетс-авеню. Белое здание, жара летом такая, что чернила сохнут на кончике пера. Мы там работали, как каторжные. Через нас шла вся переписка Лондон–Вашингтон, у Черчилля с Рузвельтом, потом с Трумэном, представляешь? Читаешь утром, а вечером весь мир об этом ещё не знает. — Он замолчал. — Странное чувство. Как будто знаешь будущее на четыре часа вперёд.

— Ты вернулся в августе сорок пятого?

— Да. Через две недели после Хиросимы. — Алек улыбнулся. — Как раз к вашей истории в Оттаве.

Рейн кивнул.

Он смотрел на долину. Ветер доносил запах яблок, которые давно сгнили под деревьями.

Три года, думал он. Посольство. Переписка Черчилля с Рузвельтом.

Он знал, что в этом нет ничего. Каждый, кто работал в посольстве, видел эти бумаги. Их видели двадцать, тридцать, пятьдесят человек. Шифровальщики, секретари, машинистки. Люди, которые любили, ссорились, женились, заводили собак.

Но он слышал, как голос внутри него повторил сухо, без интонации, как зачитывают обвинительный акт: *«Вашингтон. Упоминается 1944»*.

Он остановился.

— Что с тобой? — спросил Алек.

— Ничего. Устал.

— Ты всегда «ничего». — Алек взял его под руку, легко, как берут под руку друга, которому нужно помочь подняться на пригорок. — Пойдём обратно. Джоан печёт яблочный пирог. Говорит, он тебе понравится, и тут она совершенно права.

Они пошли вниз по склону. Рейн шёл, ощущая на локте руку друга, и думал, что ничто в мире не может быть тяжелее этого прикосновения.

Вечером, в поезде, при свете тусклой лампы он достал тетрадь и открыл чистую страницу.

Он провёл линию сверху вниз, разделив лист на две колонки. Слева надписал: «Клички». Справа, после долгого раздумья: «Откуда».

Потом, под этим, ниже, отдельной строкой, почти не нажимая на карандаш, добавил третью колонку.

«Годы».

Он смотрел на неё. Колонка была пустой. Он не знал, что в неё писать. Он знал только, что без неё таблица неполна, что любой, кто станет её читать, поймёт её первым делом, и что этого человека придётся искать не по кличке и не по лицу, а по тому, где он был и когда.

Поезд качнулся и тронулся.

За окном проплывали огни Кента, тёмные холмы, мокрые крыши, одинокие фонари на пустых платформах. В вагоне кто-то спал, кто-то читал газету. Рейн закрыл тетрадь и убрал в портфель. Потом сидел и смотрел на своё отражение в стекле: худое лицо, усталые глаза, свитер под пальто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.